

⁶⁴ Фельетон З. Гиппиус «Журнальная беллетристика» помещен на с. 24–29.

⁶⁵ В третьем номере журнала в отделе «Новые книги» помещена отрицательная рецензия А. Г. Горнфельда, сильно взволновавшая Шмелева. По поводу этой рецензии у писателя завязалась переписка с редактором издания В. Г. Короленко, который выразил согласие с критикой Горнфельда. См. подробнее: Письма В. Г. Короленко разным лицам / Публ. И. А. Желваковой // Новое и забытое. М., 1966. С. 130–131, 144.

⁶⁶ Рецензия В. М. Волькенштейна помещена в № 12 (с. 133).

⁶⁷ Статья «Ив. Шмелев: Рассказы» (№ 5. С. 311–313).

⁶⁸ См., например, заметки З. Н. Гиппиус (под псевд. Антон Крайний) «Книги, писатели и читатели» (Русская мысль. 1911. № 4. С. 17–23); «В литературе» (Там же. 1911. № 11. С. 26–31); «Журнальная беллетристика» (Там же. 1913. № 4. С. 24–29).

⁶⁹ Статья «„Буржуи“ и ищущие» (№ 4. С. 119–123).

⁷⁰ Заметка Ф. Ямниковского о январской книжке «Заветов» (в рубрике «Из журналов»): рецензент в целом положительно оценивает рассказ «Поденка», но добавляет, что «есть что-то тяжелое, невыработавшееся в манере автора <...> есть в его письме какая-то разряженность <так!>» (с. 3–4).

⁷¹ В 1912 году в журнале «Аполлон» вышли два сообщения М. Кузмина под рубрикой «Заметки о русской беллетристике»: о 36-м сборнике издательства «Знание» (СПб., 1912), в который вошла повесть Шмелева «Человек из ресторана» (№ 1. С. 68), и о первом сборнике «Издательского товарищества писателей» (СПб., 1912), в который включен рассказ «Пугливая тишина» (№ 3/4. С. 104).

⁷² Статья «Художественная литература» (с. 372–393).

⁷³ См.: Šmeljov I. Za světlým cílem: Dvě povídky / Z ruštiny přeložil Jindřich Veselovský. [Praha], 1912.

⁷⁴ Штрассер Надя (1871–1955) — переводчица, писательница, русская по происхождению, переводила на немецкий язык произведения Ф. М. Достоевского, В. Я. Брюсова, Андрея Белого. Перевод Н. Штрассер из Шмелева не выявлен.

⁷⁵ Переводы Шмелева на французский язык, относящиеся к этому времени, не обнаружены. О переводах произведений Шмелева на иностранные языки см. по указателю: Bibliographie des œuvres de Ivan Chmelev. P. 00–00.

DOI: 10.31860/0131-6095-2022-2-

© А. А. ЧАБАН

КОНЦЕПЦИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ: ПОЗИЦИЯ С. К. МАКОВСКОГО*

Осмысление историко-культурной ситуации предреволюционного времени стало одной из главных тем русской эмиграции первой волны. Литераторы неоднократно стремились определить причины катастрофы, запечатлеть свое видение ушедшей эпохи¹ и предложить при этом собственную систему литературной иерархии.

Любопытным примером выстраивания литературного пантеона 1900–1910-х годов уже постфактум, в эмигрантской среде, может послужить мемуаристика С. К. Маковского, искусствоведа, поэта, главного редактора

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-78-10012: «Писатель — критик — читатель (Механизмы формирования литературной репутации в России на рубеже XIX–XX веков)», <https://rscf.ru/project/19-78-10012/>, ИРЛИ РАН.

¹ См. об этом обстоятельное исследование: Долинин А. А. Пропущенные звенья в истории термина «Серебряный век»: 1946–1952 // Серебряный век в русской литературе и культуре конца XIX — первой половины XX вв.: К 90-летию со дня рождения З. Г. Минц / Отв. ред. Л. Пильд и Т. Степанищева. Тарту, 2018. С. 13–27 (Acta Slavica Estonica; вып. X / Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia; вып. XVI).

журнала «Аполлон», в эмиграции — одного из редакторов газеты «Возрождение».

Первые подступы к формированию целостной картины литературного поля начала века Маковский совершает, создавая книгу мемуаров «Портреты современников» (Нью-Йорк, 1955), где последовательно излагает свои воспоминания, начиная с рубежа XIX–XX веков (гл. «Отец и мое детство») и заканчивая предреволюционными годами (гл. «Гамлет-Качалов»). Несмотря на название, главным действующим лицом в книге оказывается сам автор, подчеркивающий каждый раз элитарность того общества, в котором ему довелось расти, а позже трудиться. Во второй книге мемуаров, «На Парнасе Серебряного века» (Мюнхен, 1962) Маковский вновь следует по преимуществу хронологическому принципу, но в оценке литературных репутаций современников делает больший акцент на их положении в собственной системе художественных координат, демонстрируя тем самым свое представление об эволюции русской литературы 1900–1910-х годов. Как представляется, обращение именно в конце 1950-х годов к более широкой проблематике, касающейся вопросов иерархии и эволюции, для Маковского было далеко не случайным: в это время литератор начинает воспринимать себя как официального представителя уходящей эпохи, «последнего из могикан»,² поэтому во многом стремится своими мемуарами поставить точку в осмыслении феномена Серебряного века и его основных представителей. К созданию воспоминаний он подходит чрезвычайно основательно, пользуясь не только тем, что сохранилось в его памяти, но и поступательно прорабатывая уже написанное предшественниками. Известно более двадцати³ записных книжек Маковского, каждая из которых полна его конспектов или выписок из текстов современников.

Так, довольно эклектичное, на первый взгляд, содержание тетради «С. К. Маковский. Заметки и выписки. Андрей Белый. I»⁴ на самом деле раскрывает четкий план литератора: «1. Андрей Белый. „Записки Чудака“, 1922. 2. Андрей Белый. Начало века. 1933 (о Гиппиус). 3. Ин. Анненский „Они“ (Аполлон № 3). 4. М. Кузмин „О прекрасной ясности“. 5. Н. Гумилев „Сон Адама“. 6. René Ghil. 7. Жирмунский. О современниках (Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Зайцев). 8. Булгаков „Искусство и литургия“». ⁵ Наряду с конспектами текстов, помогающих создать литературные портреты символистов, вошедших во вторую книгу воспоминаний («Религиозно-философское общество»; «Иннокентий Анненский»), основной акцент здесь сделан на постсимволистах — в частности на Гумилеве, самостоятельный очерк о котором выйдет также во второй книге.⁶ Противостояние символизма и постсимволизма определит тем самым суть представленной Маковским концепции Серебряного века.

Среди помещенных в записной книжке конспектов обращает на себя внимание переписанная от руки статья В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм», многочисленные маргиналии в которой дают понять, насколько Маковский разделял точку зрения Жирмунского и какова была его собственная позиция.

² См. характерную цитату Г. Струве из рецензии на «Портреты современников»: «С. К. Маковский — едва ли не последний из могикан — после смерти в 1949 г. Вячеслава Иванова — того периода русской литературы, который с недавних пор стало принято называть „серебряным веком“» (Струве Г. Летописец русского Ренессанса // Грани. 1955. № 25. С. 208). Как замечает А. Долинин, рецензию Струве Маковский не только читал, но и, судя по всему, именно оттуда мог заимствовать заглавие для своей второй книги (Долинин А. А. Пропущенные звенья в истории термина «Серебряный век»: 1946–1952. С. 23).

³ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 68–92.

⁴ Там же. Ед. хр. 76.

⁵ Там же. Л. 1.

⁶ Первая публикация — журнал «Грани» (1957. № 36. С. 132–152).

Чтобы лучше определить позицию Маковского, позволим напомнить несколько общеизвестных фактов о «Преодолевших символизм». Статья вышла 1916 году, вслед за прочитанной в том же году лекцией «О новой поэзии».⁷ В докладе, а затем и статье разбиралось по преимуществу творчество трех поэтов, составивших основной центр акмеизма — Ахматовой, Гумилева и Мандельштама. Описывая как индивидуальные, так и общие черты поэтики названных авторов, Жирмунский пытался ответить на вопрос о ведущих тенденциях литературного процесса 1910-х годов.

В символизме исследователь выделяет три поколения поэтов: первое, для которого «символизм был прежде всего <...> освобождением от односторонней аскетической морали русской либеральной общественности»,⁸ связано с именами Бальмонта и Брюсова; эстетические взгляды второго поколения зиждились на «внесении в поэзию мистического чувства»⁹ (Белый, Блок, Вяч. Иванов); третий этап, по мысли Жирмунского, определяется фигурой М. Кузмина, в поэзии которого намечается путь к преодолению символизма. По сравнению с символистами, акмеисты, как полагает Жирмунский, идут дальше предшественников в своих художественных поисках, обращаясь к простому обыденному языку (в противоположность музыкальности символистов) и земному миру, сознательно изгоняя оттуда хаос и невыразимое.¹⁰ Вместе с тем ученый отмечает и ряд слабых сторон в позиции молодых поэтов: так, по его мнению, неореалистическая тенденция, наметившаяся в творчестве акмеистов, реализована лишь частично, поскольку их поэзия не преодолела индивидуализма и в ней «нет действительного смирения, подчинения отдельной личности объективной правде мира и вещей».¹¹ Более того, оценивая историко-литературный потенциал поэтов, ученый отмечает больший масштаб сделанного символистами.¹²

С выводами относительно роли акмеистов Жирмунский, однако, не торопится, допуская, что впоследствии они смогут занять достойное место в истории литературы, и отмечая главную заслугу этой школы на момент середины 1910-х годов: акмеизм, по мнению исследователя, выразил основную потребность времени в поиске новых форм. Справедливость суждений ученого высоко оценили те, кому была посвящена статья. Так, широко известно восклицание Ахматовой «Он прав!»,¹³ сказанное поэтессой после лекции. Впоследствии Ахматова не изменила свое мнение и продолжала называть наблюдения Жирмунского «первым настоящим об акмеизме».¹⁴

⁷ Доклад был прочитан в «Неофилологическом обществе» 31 октября 1916 года.

⁸ Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Поэтика русской поэзии. СПб., 2001. С. 364.

⁹ Там же. С. 366.

¹⁰ См. у Жирмунского: «Но это формальное совершенство, это художественное равновесие в стихах поэтов „Гиперборей“ достигается рядом существенных уступок и добровольным ограничением задач искусства, не победой формы над хаосом, а сознательным изгнанием хаоса. Все воплощено, оттого что удалено невоплотимое, все выражено до конца, потому что отказались от невыразимого» (Там же. С. 402).

¹¹ Там же. С. 401.

¹² См.: «В этой намеренной незавершенности своих произведений, нарушающей, по мнению теоретиков акмеизма, царственное равновесие произведения искусства, символисты несравненно богаче, интереснее и содержательнее, как поэты, чем „гиперборейцы“; и если бы Александр Блок владел искусством выразительного слова в менее совершенной форме, чем младшие „акмеисты“, он все же был бы неизмеримо значительнее их, как поэт, дающий предчувствие до конца невоплощенных и невоплотимых душевных миров огромной напряженности и неизмеримого протяжения» (Там же. С. 403–404).

¹³ Эткинд Е. Г. Память и верность (Вместо предисловия) // Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 7.

¹⁴ Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino, 1996. С. 377.

Маковский вполне мог присутствовать на лекции¹⁵ и наблюдать реакцию аудитории, однако, вопреки этому, почти через полвека в своих мемуарах он предлагает собственное видение роли акмеизма и символизма (а также его представителей), не соглашаясь с ученым по ряду принципиальных положений.

Из записных книжек следует, что Маковский не считает Мандельштама акмеистом. Возле замечания Жирмунского о том, что «участие в новом поэтическом движении не изменило стихов Мандельштама в смысле большего приближения к реальной жизни», в записной книжке Маковский оставляет свой комментарий: «еще бы! При чем тут акмеизм Гума?». ¹⁶ Примечательно, что в эссе о Мандельштаме, напечатанном в книге «Портреты современников», Маковский также излагает похожие суждения, причисляя поэта к младшим символистам: «Началось во Франции, на смену описательной четкости Парнасцев, со Стефана Маллармэ, углублявшего, насыщавшего скрытым содержанием стихи до того, что сплошь да рядом приходится их разгадывать, как ребусы. <...> В русской „новой“ поэзии последователями этого словесного герметизма сделались символисты: Блок, Анненский, Вячеслав Иванов. В этом смысле и Осип Мандельштам — символист прирожденный, хотя и не в том мистическом и даже эзотерическом духе, какой придавали этому понятию Андрей Белый и, отчасти, Блок». ¹⁷

Подобное мнение высказывалось Маковским не единожды. Так, в следующем фрагменте воспоминаний литератор объясняет суть мандельштамовского видения акмеизма, которое, по мысли автора, остается в сугубо символистских рамках: «Создалась эта „школа“ в среде „Аполлона“ как противодействие мистическому символизму, возглавляемому Вячеславом Ивановым. Гумилев требовал „заострения“ словесной выразительности, независимо от каких бы то ни было туманных идеологий. <...> Хотя и далекий от В. Иванова, Мандельштам становился символистом чистой воды каждый раз, когда „заострялось“ до предельной выразительности его слово-звук и слово-образ. Не надо забывать, что словесную фонетику он называл „служанкой серафима“». ¹⁸

В конспекте многие наблюдения Жирмунского, касающиеся различий поэтики Мандельштама и символистов, Маковский встречает также крайне скептически. К примеру, замечание, что «сужение душевного мира» акмеистов «опять дает возможность быть графичным, четким и рассудительным» Маковский раздраженно парирует: «Это Мандельштам?!», ¹⁹ полагая, что четкость и рассудительность — черты, не свойственные поэтике Мандельштама. Повышенная эмоциональность, присущая поэту в жизни, о чем неоднократно писал Маковский в воспоминаниях, ²⁰ также являлась, по мысли

¹⁵ Осенью 1916 года С. Маковский еще находился в Петрограде. См., например, его письмо матери от 7 сентября 1916 года (ИРЛИ. Ф. 230. Ед. хр. 616. Л. 56).

¹⁶ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 22.

¹⁷ Маковский С. К. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. С. 383.

¹⁸ Там же.

¹⁹ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 30.

²⁰ См., например, характерный эпизод, полностью воспроизведенный Маковским в своей книге: «Покорный К. Ю. Мочульский рассказал, по моей просьбе, читателям „Встречи“ (№ 2) о том, как он давал когда-то Осипу Эмильевичу уроки древнегреческого: „Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывавшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда узнал, что причастие прошедшего времени от глагола «пайдево» (воспитывать) звучит «пепайдевкос», он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься» (цит. по: Маковский С. К. Портреты современников. С. 379–380).

автора, и ведущей чертой его поэтики, роднящей с символистами. Поэтому и следующий абзац из «Преодолевших символизм» Маковский сопровождает подчеркиваниями с вопросительными знаками: «Элемент эмоционального, лирического содержания в непосредственном песенном выражении отстывает у него, как и у других „акмеистов“ на задний план (?) <...> С молодым поколением поэтов Мандельштама роднит *отсутствие личного, эмоционального* (?) и мистического элемента в непосредственном песенном отражении».²¹

Наибольшее напряжение возникает, когда Жирмунский указывает на черту поэтики Мандельштама, ставшую программной, которую сам поэт назовет «тоской по мировой культуре»: ²² «Мандельштаму свойственно вчувствоваться в своеобразие чужих поэтических индивидуальностей и чужих художественных культур, и эти культуры он воспроизводит по-своему, проникновенным творческим воображением».

Комментарий Маковского полон экспрессии: «Боже мой! Да как его <Жирмунского. — А. Ч.> терпели поэты?».²³ Судя по воспоминаниям, для Маковского любовь к разным культурам, воспринятая через звучание слов — это часть мистического постижения мира, свидетельствующая о близости к символистам, а не к поэтам нового поколения: «Никогда не встречал я стихотворца, для которого тембр слов, буквенное их качество, имело бы большее значение. Отсюда восторженная любовь Мандельштама к латыни и особенно к древне-греческому. Можно сказать, что античный мир он почувствовал до какого-то ясновидения через языковую стихию эллинизма. Но и к России, к русской сути, к царской Москве и императорскому Петербургу, он прикоснулся тоже, возлюбив превыше всего — русскую речь, богатство ее словесных красот, полнозвучие ударных гласных, ритмическое дыхание строки».²⁴

Как представляется, за настойчивым видением в Мандельштаме поэта символистского склада кроется более сложная система соотношений, направленная не столько против Мандельштама-акмеиста, сколько на концепции символизма и акмеизма в целом. И если в итоговом тексте мемуаров эта мысль оттеняется событийной канвой, то в записных книжках доминирует, характеризующая в целом подход мемуариста и к другим поэтам.

Так, в следующей части статьи, где Жирмунский рассуждает уже об ахматовской лирике, вновь наблюдается негодование Маковского относительно тех же категорий поэтики (музыкальность, эмоциональность, мистицизм): «В противоположность этому стихи Ахматовой не мелодичны, не напевны (?), при чтении они не поются (?), и не легко было бы положить их на музыку (вздор!). Конечно, это не значит, что в них отсутствует элемент музыкальный, но он не преобладает, не предопределяет собой всего словесного строения стихотворения (?), и он носит иной характер, чем в лирике Блока и молодого Бальмонта (почему?). Там — певучесть песни, мелодичность <...> (?); здесь — нечто сходное по впечатлению с прозрачными и живописными гармониями Дебюсси (?!), с теми неразрешенными диссонансами и частыми

²¹ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 25–26. Здесь и далее в цитатах из конспекта знаки вопроса и комментарии, данные в скобках, принадлежат Маковскому; подчеркивания переданы курсивом.

²² См. в статье «Слово и культура» (1921): «В священном иступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семистольной, а тысячестольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков» (*Мандельштам О. Слово и культура: Статьи / Сост. и прим. П. Нерлера; вступ. статья М. Я. Полякова. М., 1987. С. 42–43*).

²³ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 23.

²⁴ *Маковский С. К. Портреты современников. С. 379.*

переменами ритма (?), которыми в современной музыке заменяется обычная (?) мелодичность, уже переставшая быть действенной (?). Поэтому у Ахматовой так редко аллитерации (?) и внутренние рифмы (?)».²⁵

Помимо оценки музыкальности, Маковский не разделяет мнение Жирмунского о специфике изображения внутреннего мира лирической героини Ахматовой. Большим знаком вопроса и пометой «Наоборот!» он комментирует и следующий абзац конспекта: «Нельзя также говорить о лирическом, эмоциональном вчувствовании в предметы внешнего мира, при котором внешний мир живет отдельной жизнью с душой; такое вчувствование всего обычнее в лирике природы (например, у Фета). У Ахматовой явления душевной жизни вполне отчетливо отделены от факторов внешней жизни; душа <...> не затопляет собою внешнего мира».²⁶ Религиозность поэтессы, являющаяся, по мысли Маковского, следствием стремления к трансцендентному и мистическому, также роднит ее с символистами.²⁷

Приведенные полемические фрагменты из записной книжки напрямую повлияли на воспоминания Маковского, где литератор отстаивает как музыкальность стихотворений Ахматовой, так и преимущество изображенного ею внутреннего мира перед внешним: «Вкус у нее куда безусловней его (Гумилева. — А. Ч.) вкуса, поэтический слух, не говоря об уме, гораздо тоньше. Ее строки всегда поют, и в них глубоко пережитого чувства больше, чем внешнего блеска».²⁸

Таким образом, перечисленные Жирмунским художественные особенности Ахматовой-акмеистки Маковский или не признает, или выводит их генезис из символизма. Эту принципиальную позицию красноречиво демонстрирует следующий фрагмент конспекта, где литератор вступает в полемику с исследователем именно по вопросам различий в поэтике двух направлений: «Черты, принципиально (?) новые, принципиально отличные (?) от лирики русских символистов, заставляют нас видеть в Ахматовой лучшую и самую типичную (?) представительницу молодой поэзии».²⁹ Судя по всему, как и в случае с Мандельштамом, Маковский также не захотел признавать Ахматову «преодолевшей символизм».³⁰

Наконец, литературная репутация вождя новой школы, Н. Гумилева, формируется Маковским по той же схеме. Плюсом мемуарист выделяет строку, где отмечается связь поэта с символизмом: «еще в эпоху расцвета символизма началась литературная деятельность Гумилева».³¹ В воспоминаниях о Мандельштаме (1955) Маковский уже писал о нерасторжимом единстве Гумилева с символизмом: «Гумилев требовал „заострения“ словесной выразительности, независимо от каких бы то ни было туманных идеологий. Но и он, в таких стихотворениях, как „Дракон“, например, оставался верен языку символов».³² В конспекте литератор вновь не соглашается с тем,

²⁵ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 33.

²⁶ Там же. Л. 39.

²⁷ См. также соответствующий фрагмент в конспекте с характерным комментарием: «более!» и подчеркиваниями: «В особенности это ясно по отношению к религиозному чувству, которое играет большую роль в лирике поэтов-символистов. <...> В стихах Ахматовой религиозность не менее подлинная; но она носит характер не мистического озарения, а твердой и простой веры» (Там же. Л. 40).

²⁸ Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века / Вступ. статья В. В. Нехотина. М., 2000. С. 226.

²⁹ РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 32.

³⁰ Финальный абзац конспекта помечен большим вопросительным знаком: «Это душевное своеобразие заставляет нас причислить Ахматову к преодолевшим символизм, а ее поэтическое дарование делает из нее наиболее значительного поэта молодого поколения» (Там же. Л. 22).

³¹ Там же. Л. 25.

³² Маковский С. К. Портреты современников. С. 383.

что лирика Гумилева менее музыкальна и эмоциональна, чем поэзия символистов.³³

В целом Маковский поступательно создает портрет Гумилева-трагического лирика, а не «поэта-воина», как по преимуществу изображал его Жирмунский; в конспекте возле замечания литературоведа об отсутствии любовной и пейзажной лирики у поэта он замечает на полях: «в сущности только о них и говорит».³⁴ В эссе Маковский также возвращается к этой теме, уже открыто споря с ученым: «Недавно попалась мне на глаза написанная перед самой революцией статья весьма осведомленного В. М. Жирмунского о поэтах, „преодолевших символизм“. Вот как он характеризует гипербопейца-Гумилева: „Уже в ранних стихах поэта можно увидеть черты, которые сделали его вождем и теоретиком нового направления. От других представителей поэзии «Гиперборея» Гумилева отличает его активная, откровенная и простая мужественность, его напряженная душевная энергия, его темперамент“. <...> Эта характеристика неверна, если только не поверить поэту на слово, если вдуматься в скрытый смысл его строф (может быть, до конца и не созданный им самим). Многие хоть и звучат, на первый слух, как мажорные фанфары, но когда внимательнее их перечтешь, прикровенный смысл их кажется безнадежно печальным».³⁵

Большим знаком вопроса в конспекте Маковский помечает и следующий отрывок, подчеркивая, с одной стороны, генезис Гумилева, а с другой — не соглашаясь, что поэтика Гумилева слабее художественных приемов его учителя: «Гумилев справедливо называл себя учеником Валерия Брюсова, хотя у Брюсова гораздо определеннее и ярче индивидуалистическая окраска мечты поэта, породившей экзотическое повествование, гораздо отчетливее и ощутимее (?) его единообразный лирический корень».

Итак, многочисленные маргиналии в конспекте «Преодолевших символизм» показывают, что Маковский расходится с позицией ученого по ряду принципиальных вопросов: как с тем, что анализируемых поэтов можно назвать преодолевшими символизм, так и с тем, что поэтический талант представителей старшего поколения значительно ярче. Тем самым, настойчиво рассматривая акмеизм как один из изводов символизма, Маковский, как кажется, предлагает новый взгляд на эволюцию символизма, идущую не через его преодоление, а логическое продолжение. Акмеисты в этом случае оказываются не разрушителями традиции, а теми, кто ее сохраняет, что, заметим, также очень близко эстетике эмиграции. Для самого же Маковского (примыкавшего в 1900-х годах к символистам и официально от него не отрекавшегося) такая концепция Серебряного века имеет еще несколько личных следствий.

Существенно смещая акценты в генезисе акмеистов, Маковский, судя по всему, стремится также изменить и литературный пантеон Серебряного века. Как известно, с 1920-х годов начинают появляться мемуарные очерки, где фигуры Гумилева и Блока так или иначе оказываются соположенными вместе (П. Струве,³⁶ В. Ходасевич,³⁷ Г. Иванов³⁸ и др.).

³³ См. фрагмент: «Его стихи бедны эмоциональным и музыкальным содержанием (?)» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 26).

³⁴ Там же. См. также продолжение этого фрагмента: «как большинство поэтов „Гиперборея“, он избегает лирики любви (?) и лирики природы (?), слишком индивидуальных признаков и слишком тяжелого самоуглубления».

³⁵ Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. С. 212–213.

³⁶ Струве П. In memoriam. Блок — Гумилев // Русская мысль (София). 1921. Кн. 10–12. С. 88–91.

³⁷ Ходасевич В. О Блоке и Гумилеве // Дни (Париж). 1926. № 1069. С. 5–10.

³⁸ Иванов Г. Блок и Гумилев // Сегодня (Рига). 1929. 6 окт. № 277. С. 5.

В мемуарах Маковского Блок представлен как поэт, утрачивающий свое первенство перед энергичным натиском Гумилева: «Балованный успехом, он жестоко страдал, чувствуя, что от него ускользает „первенство“ среди поэтов младшего поколения. И позже, на вершинах славы, уже при большевиках (после «Скифов» и «Двенадцати») он по-видимому так же болезненно ощущал утрату этого первенства и умер, глубоко уязвленных давнишним своим соперником (не менее, если не более честолюбивым, чем он сам)...».³⁹ Если о Гумилеве Маковский высказывается не только положительно, но порой и сочувственно, то о Блоке — резко негативно, акцентируя внимание на ряде речевых и стилистических ошибок в его стихотворениях и подводя читателей к мысли, что этого поэта напрасно считают одним из лучших лириков своего времени: «Расстаться с мыслью о „гениальности Блока“ нелегко... Долгое время старался я не замечать плохих его стихов (ведь есть и хорошие!), брался неоднократно за „полные собрания сочинений“ Блока, но каждый раз многое на многих страницах приводило меня в отчаяние... Еще совсем недавно перечитывая Блока, — его сочинения „в одном томе“, изданные в 1946 году Госиздатом, вместе с пояснительными „приложениями“ (более 600 страниц in-quarto, мелким шрифтом), — я поражаюсь тому, как могли когда-то эти стихи не озадачивать, прежде всего, прямым искажением русской речи! Эту безусловную несостоятельность Блока-стихотворца я, главным образом, и имею в виду, утверждая, что его никак нельзя причислить к большим поэтам, мастерам слова».⁴⁰

Судя по записным книжкам, идея низвержения прежних ориентиров символизма содержалась уже в плане главы о Блоке: «Знакомство и ним в 1903 году в редакции „Журнала для всех“ (под ред. Миролубова). „Стихи о Прекрасной Даме“ и „Балаганчик“. Аполлоновская „Поэтическая академия“ и выступление Блока = за символизм (1910 год). „Итальянские стихи“ и мое выступление в Поэтической Академии. „Двенадцать“ Блока. Плохой русский язык Блока⁴¹. [Преувеличе]».⁴² В конспекте «Преодолевших символизм» каждое замечание Жирмунского о Блоке также не обходится без язвительной пометы Маковского. Так, например, имя Блока в перечне ярчайших представителей второго этапа русского символизма сопровождается вопросительным знаком, как и следующий пассаж: «...символисты несравненно богаче (?), интереснее и содержательнее как поэты, чем „Гипербореицы“: и если бы Александр Блок владел искусством выразительного слова в менее совершенной форме (?), чем младшие „акмеисты“, он все же был бы неизмеримо значительнее (!!?) их как поэт, дающий предчувствие до конца невоплощенных и невоплотимых миров огромной напряженности и неизмеримого протяжения».⁴³

Тем самым в мемуарах Маковский предлагает радикальную трактовку литературного пантеона дореволюционной России, где Гумилев и в целом «поэты-гипербореицы», которых он относит именно к младшим символистам, стоят на несколько ступеней выше творчества Блока и в целом других младших символистов (А. Белый, Вяч. Иванов). Выскажем здесь осторожное предположение, что в подобной позиции можно заметить своеобразно

³⁹ Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. С. 166–167.

⁴⁰ Там же. С. 170.

⁴¹ См. также два письма Блока к Маковскому от 29 декабря 1909 года (Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 300–301), где Блок довольно раздраженно отвечает на замечания адресата о речевых ошибках в своих стихотворениях. Тема русского языка была для Маковского довольно острой. См. его статьи «Берегите русский язык», «Слово и разум» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 60); «Модернисты и порча языка» (Там же. Ед. хр. 59).

⁴² Там же. Ед. хр. 62. Л. 3.

⁴³ Там же. Ед. хр. 76. Л. 36.

преломившийся след известной полемики 1910 года о развитии русского символизма.⁴⁴ Прежняя дискуссия развернулась на страницах «Аполлона» и заставила всех литераторов выбрать наиболее подходящую для них сторону. Как известно, редакция журнала присоединилась к позиции Брюсова⁴⁵ и не приняла доводы младших символистов. Примечательно, что почти пятьдесят лет спустя Маковский продолжает именно этот давно оконченный спор, основывая на нем значительную часть своих рассуждений, о чем вспоминает и в плане к главе («Аполлоновская „Поэтическая академия“ и выступление Блока = за символизм (1910 год)»).

С другой стороны, на столь радикальную позицию Маковского могло повлиять также его неприятие поэмы «Двенадцать». Пункт о «Двенадцати» в плане главы о Блоке предваряет два последних раздела, прямо свидетельствующих об установке мемуариста поколебать авторитет Блока. Как большинство эмигрантов, Маковский не принял поэму, посчитав ее литературной фальшью.⁴⁶

Наконец, «продвигая» акмеистов вверх по литературной иерархии, Маковский каждый раз отмечает свою ключевую роль в карьере всех названных поэтов, что неоднократно подчеркивается в его мемуарах. Так, именно он выносит вердикт юному Мандельштаму — о его поэтическом даре,⁴⁷ уговаривает молодую Ахматову вопреки воле мужа опубликовать стихотворения в «Аполлоне» (и тем самым открывает ее творческий путь)⁴⁸ и проникательно распознает в неопытном Гумилеве будущего редактора литературного отдела «Аполлона» и талантливого поэта.⁴⁹ Поступательно включая в мемуары эти

⁴⁴ См. подробнее: *Богомолов Н. А., Кузнецова О. А.* Переписка В. И. Иванова с С. К. Маковским // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 158; *Лавров А. В.* Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. С. 204.

⁴⁵ См., например, письмо Н. Гумилева к В. Брюсову от 2 сентября 1910 года: «Ваша последняя статья „Весак“ («Аполлоне»). — А. Ч.) очень покорила меня, как, впрочем, и всю редакцию. С теоретической частью ее я согласен вполне, также и полемической, когда дело идет о Вячеславе Ивановиче» (Переписка с Н. С. Гумилевым (1906–1920) / Вступ. статья и комм. Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щербакова; публ. Р. Л. Щербакова // Лит. наследство. 1994. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты: В 2 кн. Кн. 2. С. 500–501).

⁴⁶ *Маковский С. К.* На Парнасе Серебряного века. С. 179. Обратим внимание, что в мемуарах и записных книжках отношение Маковского к сотрудничавшему с советской властью Брюсову также довольно прохладное, и в сопоставлении с Гумилевым Маковский снова отдает предпочтение более молодому поэту. (См., например, прим. 37).

⁴⁷ См.: «Вошедшая представила мне юношу: / — Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать наконец, как быть с ним. <...> Сделайте одолжение — скажите, скажите прямо: талант, или нет! Как скажете, так и будет... / <...> Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня, и уж я готов был отделаться от мамы и сына неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда — взглянув опять на юношу — я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей. / Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно: / — Да, сударыня, ваш сын — талант. / Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. <...> / Новичок стал заходить в „Аполлон“ чуть не ежедневно, всегда со стихами, которые теперь он читал вслух с одному ему свойственными подвыпаниями и придыханиями, — почти что цел их, раскачиваясь в ритм всем своим щуплым телом» (цит. по: *Маковский С. К.* Портреты современников. С. 377–379).

⁴⁸ См.: «Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она (Ахматова. — А. Ч.) к моей жене, читала стихи. Она еще не печаталась в журналах, Гумилев „не позволял“. Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в „Аполлоне“. Она колебалась: что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал: „Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно“» (цит. по: *Маковский С. К.* На Парнасе Серебряного века. С. 210).

⁴⁹ «Особенно протестовал Вячеслав Иванов, авторитет для аполлоновцев непререкаемый. Сколько раз корил он меня за слабость к Николаю Степановичу! Удивлялся, как мог я поручить

фрагменты, Маковский выстраивает и собственную репутацию: первооткрывателя талантов, проницательного и успешного организатора, по сути — ключевую фигуру литературной жизни России 1910-х годов.

Расчет автора на распространение столь революционной концепции Серебряного века мог быть в первую очередь подпитан надеждами на наметившуюся смену поколений: представители старшего поколения уже умерли, а оставшиеся принадлежали скорее постсимволистскому периоду (Г. Адамович, Н. Берберова, И. Одоевцева). Планы Маковского, однако, не удались: в среде литераторов по поводу содержания эссе о Блоке поднялась настолько сильная волна негодования, что Маковскому пришлось написать открытое письмо, поясняющее свою позицию.⁵⁰ Этот отпор общественности свидетельствует о том, что к концу 1950-х годов концепция Серебряного века и его поэтическая иерархия устоялись уже настолько, что мнение такого авторитетного литератора, каким стал Маковский в то время, не смогло ее поколебать.

ему „Письма о русской поэзии“, иначе говоря — дать возможность вести в журнале „свою линию“. „Ведь он глуп, — говорил Вячеслав Иванов, — да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан“» (цит. по: Там же. С. 210).

⁵⁰ См. статью «Еще о Блоке» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 24).